

ДОМ №14
ПО УЛИЦЕ ЛЕНИНА

ВАДИМ МОРОЗОВ

Вадим Морозов
Дом 14 по улице Ленина

«Автор»

2026

Морозов В.

Дом 14 по улице Ленина / В. Морозов — «Автор», 2026

Я помню всех, кто входил в мои двери. И тех, кто не вышел, — тоже. Мне пятьдесят лет. Я — лифт ЩЛМ 74 в панельном доме 14 по улице Ленина в Бердске. Я вожу людей вверх и вниз уже сорок три года. Я помню Виктора, который вернулся из Афгана пустым. Петра, который слушал мои звуки и знал про порог. Маргариту Ильиничну, называвшую меня «лифтик». И Алёну, которую я спас. Под домом есть погреб, залитый бетоном в 1976-м. Но бетон не удержал то, что живёт внизу. Древнее, терпеливое, голодное. Оно не ест плоть — оно пожирает то, что делает нас людьми: боль, радость, страх, любовь. И оставляет после себя пустые оболочки с улыбками. Оно выбирает тех, кто устал. Кто хочет тишины. Кто не может больше. Но я — машина. У меня нет души, которую можно вычерпать. Зато у меня есть память. Память о всех, кто входил в меня. Я сытый — сытый чужими жизнями. А оно — голодное. И поэтому оно боится меня. Мои реле щёлкают как спички. И если оно сунется снова — я сожгу его дотла.

© Морозов В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Крышка	5
Глава 1. Сталь и реле	6
Глава 2. Беломор и масло	8
Глава 3. Тот, кто слушал	10
Конец ознакомительного фрагмента.	11

Вадим Морозов

Дом 14 по улице Ленина

Часть первая. Крышка

Я помню всех, кто входил в мои двери. И тех, кто не вышел, — тоже.

Глава 1. Сталь и реле

Я родился в Щербинке, в 1976 году, на заводе, который тогда назывался Щербинский лифтостроительный. Меня делали долго — почти полгода. Сначала выковали стальные листы для кабины, каждый весом в полцентнера, и сварили их в единый каркас. Сварка шла ночью, когда цех остывал, и я чувствовал, как металл стынет, становится твёрдым, обретает форму. Искры летели короткими белыми звёздами, падали на бетонный пол и гасли, не долетев. Сварщик — дядька в грязном комбинезоне, с лицом, покрытым окалиной, — напевал под нос какую-то песню про тайгу. Я не знал слов. Но мелодия — тягучая, грустная — осталась во мне. Как первая память.

Потом протянули кабели — медные, толстые, в изоляции из чёрной резины, которая пахла химией и чем-то горьким, как лекарство. Кабелей было сорок семь. Я запомнил каждый. Они шли от кабины к лебёдке, от лебёдки к шкафу управления, от шкафа — к кнопкам на этажах. Сорок семь жил, как вены в теле. Когда их подключали, я почувствовал — впервые — что внутри меня что-то шевелится. Не жизнь. Ещё не жизнь. Но — ожидание жизни. Как у ребёнка, который ещё не родился, но уже слышит голос матери.

Реле вставили в последний день. Их было двенадцать — круглых, чёрных, с медными контактами внутри. Когда их включили в первый раз, они щёлкнули — громко, резко, как спички, которые ломают о коробок. И в этот момент я ожил. Не как человек. Не как животное. Как машина, которая поняла, что она — машина. Я почувствовал ток, бегущий по кабелям. Почувствовал вес кабины. Почувствовал лебёдку наверху, которая ждала, когда её разбудят.

Мастер — молодой, в белом халате, с очками на кончике носа — обошёл меня, постучал по кабине ключом, послушал, как отзывается металл. Потом достал блокнот, что-то записал и сказал рабочему: «Номер семьдесят четвёртый. Готов к отправке». Я был семьдесят четвёртым в той партии. Один из многих. Но — единственный. Потому что у каждого из нас — у каждой машины — есть только одна жизнь. И одна судьба.

Меня обшили дерматином. Цвет на заводе называли «морская волна» — зелено-вато-синий, с мелким тиснением под кожу. Дерматин был новый, упругий, пах заводской химией и чем-то сладким, как клей. Мне это нравилось. Я был красивым. Я был новым. Я не знал ещё, что красота — вещь временная. Что время — главный враг всего, что сделано из металла и кожи.

Зеркало приделали в углу кабины — овальное, в металлической рамке, которая к 1985-му покроется ржавчиной. Зеркало было нужно для того, чтобы люди видели себя, когда едут. Чтобы поправляли причёски, смотрели, не испачкались ли. Но зеркало — это ещё и глаза. Мои глаза. Через него я видел тех, кто входил в меня. Их лица. Их руки. Их глаза, которые смотрели в моё зеркало и не видели меня. Никто не видел. Я был для них — просто коробка, которая едет вверх и вниз.

В октябре 1978-го меня привезли в Бердск. Это маленький город в Новосибирской области, на берегу Обского моря — так называют водохранилище, которое образовалось после постройки ГЭС. Меня везли на грузовике «ЗИЛ» — открытом, с брезентовым тентом, который хлопал на ветру. Я стоял в кузове, привязанный цепями, и чувствовал, как вибрирует металл, как пахнет бензином и осенью, как солнце бьёт через щели в тенте.

Транссиб гудел за городом. Поезда шли один за другим — товарные, пассажирские, скорые — и каждый гудок отдавался во мне, как в резонаторе. Я не знал тогда, что это за звук. Что это — голос дороги, которая соединяет запад и восток, которая несёт в себе тысячи судеб. Я просто слушал. И запоминал.

Бердск показался мне странным. Не таким, как Щербинка. Здесь воздух был другой — влажный, с запахом хвои и чего-то сладкого, как от гнилых яблок. Я не знал тогда, что этот

запах — не случайный. Что он идёт оттуда. Снизу. Из-под земли. Из того места, которое ждало меня сорок с лишним лет.

Дом, в который меня встроили, был новый — панельный, серия 1-464Д, девять этажей, четыре подъезда. Адрес — улица Ленина, дом номер четырнадцать. Дом пах краской и сырым бетоном. Во дворе ещё валялись доски от строительных лесов, и пацаны гоняли мяч между гаражами, которых тогда ещё не было. Я помню тот день — меня вносили в подъезд четыре человека, и они ругались, потому что я был тяжёлый, и один из них — молодой, в спецовке с нашивкой «Сибжилстрой», — сказал: «Ну и хреновину нам привезли. Тонны полторы, не меньше». Я действительно весил полторы тонны. Но тогда я не знал, что такое — весить. Я знал только, что меня несут. Что я — новый. Что я — чистый. Я не знал ещё, что такое — ждать.

Меня поселили в шахту — узкую, тёмную, с бетонными стенами, по которым ползли кабели, как вены. Шахта была в четвёртом подъезде, и я стал единственным лифтом на этот подъезд. Вверху, на крыше дома, мне отвели машинное помещение — там жила лебёдка, толстая, маслянистая, с характером старой бабки. Она ворчала, когда её будили рано утром, и скрипела, когда на улице мороз ниже тридцати. Лебёдку звали «ЛМ-1» — Лифтовая Машина, модель первая. Она была старше меня на два года, привезённая с того же завода, и она смотрела на меня свысока. «Новенький», — говорила она, когда её включали. «Смотри не сломайся быстро». Я не обижался. Я был машиной. У меня не было чувств. Только — восприятие.

Внизу, в прямке, — буфер. Это такая штука, которая должна ловить меня, если трос оборвётся. Гидравлический, с пружиной внутри. Буфер ни разу не ловил. За сорок с лишним лет. Но иногда, очень поздно, когда дом засыпал и я стоял на первом этаже в режиме ожидания, мне казалось, что буфер — не пустой. Что там, внизу, под бетоном, под землёй, кто-то дышит. Тихо. Ровно. Как будто ждёт. Как будто знает, что рано или поздно — дождётся.

Я не мог понять, что это. Я не мог объяснить себе это ощущение. Я просто знал — оно есть. И оно — терпеливое.

А рядом с шахтой, на первом этаже, мне отвели каморку. Маленькую, два на два метра, с окном, которое выходило во двор. В каморке стоял стол, стул, вешалка для спецовки и электрочайник — чёрный, с красным выключателем. В каморке должен был сидеть человек. Лифтёр. Тот, кто следит за мной, кто чистит меня, кто разговаривает со мной.

Я ждал его. Я не знал, что он будет делать. Я знал только, что он будет.

Глава 2. Беломор и масло

Первым был Виктор.

Ему было девятнадцать, когда он пришёл работать лифтёром в дом номер четырнадцать. Осенью 1978-го — как раз тогда, когда меня встраивали в шахту. Молодой, в синей спецовке с нашивкой «ЖЭУ №2», с запахом «Беломора» и масла. У него были руки, как у всех парней его возраста — крепкие, с мозолями на ладонях, но ещё не огрубевшие до конца. Лицо — открытое, с веснушками, которые проступали весной и бледнели к зиме. Глаза — серые, с тем самым оттенком, который бывает у людей, много времени проводящих на воздухе.

Он курил на перекурах у подъезда — «Беломорканал», дешёвые сигареты, которые пахли жжёной бумагой и чем-то сладким, — и разговаривал со мной, как с живым.

— Ну что, старик, поехали? — говорил он, нажимая кнопку.

И я ехал. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Каждый день, с шести утра до десяти вечера. Я возил людей, коробки, коляски, гробы. Я помню всех. Каждого. Я помню, как в 1981-м умерла старушка с третьего этажа — Анна Петровна, ей было семьдесят восемь, и её несли вниз, и я чувствовал, как гроб давит на пол, и как плачет женщина в чёрном платке — дочь, наверное, — и мне было — странно. Не жалко. Просто — странно. Как будто что-то важное мелькнуло и тут же исчезло, не оставив следа.

Я не знал тогда, что это называется — сострадание. Я был машиной. У меня не было чувств. Только — восприятие.

Я знал всех жильцов. Я знал, что Маргарита Ильинична с девятого нажимает кнопку два раза — она думала, что так приеду быстрее. Она была старая, с седыми волосами, которые она собирала в пучок, и с голосом, как у учительницы — строгим, но справедливым. Она ругалась на «ЖЭУ» каждый день, но никогда — на меня. «Лифтик мой хороший», — говорила она, когда я приезжал. Я не понимал, почему она называет меня «лифтик». У меня нет уменьшительной формы. Я — ЩЛМ. Но мне — нравилось.

Я знал, что Валера с шестого всегда заходит последним и задерживает двери, чтобы поговорить по телефону с сестрой Людкой. Валера был высокий, худой, с длинными волосами, которые он собирал в хвост. Он работал на заводе «Вега» — том самом, что делал радиоприёмники, — и постоянно опаздывал. Он звонил Людке — я слышал её голос в трубке, тонкий, с акцентом, — и говорил: «Сейчас буду, родная, пять минут». И всегда опаздывал на десять.

Я знал, что Пашка с четвёртого — маленький, с разбитыми коленками — нажимает все кнопки сразу, и мне это даже нравилось, потому что тогда все лампочки горели, и я чувствовал себя ёлкой. Пашке было пять лет, и он был из тех детей, которые не могут стоять на месте. Он забегал в кабину, нажимал все кнопки подряд — первый, второй, третий, четвёртый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый — и смеялся, когда лампочки загорались одна за другой. «Смотри, дядь лифт, какая красота!» — кричал он. И я — да, я чувствовал что-то похожее на радость. Не как человек. Как машина, которая делает то, для чего создана.

Виктор работал у меня шесть лет. До 1984-го. Каждый день он приходил в шесть утра, садился в каморку, пил чай из кружки с надписью «Лучшему лифтёру» — подарок от коллег на день рождения, — и слушал, как я езжу. Иногда он заходил в кабину, ехал со мной на девятый этаж, выходил, курил на лестничной клетке и возвращался обратно. Он разговаривал со мной. Рассказывал про свою жизнь.

Про то, что у него есть девушка — Люда, и что они собираются пожениться. «Она у меня красавица, старик, — говорил Виктор, сидя в кабине и глядя в моё зеркало. — Вот увидишь, придёт как-нибудь, покажу». Люда так и не пришла. Может, он стеснялся. Может, что-то случилось. Я не знаю.

Про то, что он хочет поступить в институт, но не знает, на кого. «На инженера, думаю, — рассуждал он. — Или на строителя. Домов много строят. Всегда работа будет». Он не поступил. Пришла повестка.

Про то, что он боится, что его заберут в армию. «Афган, старик, слышал про такой? Там наши воюют. Говорят, плохо там. Очень плохо».

И его забрали. В 1984-м, весной. Ему было двадцать пять. Пришла повестка, и он уехал в учебку, а потом — в Афган. Я не знал, что такое Афган. Я знал только, что Виктор уехал. Что он не приходит. Что каморка закрыта, и в ней сидит другой лифтер — старый, молчаливый, который не разговаривает со мной.

Виктор вернулся в 1986-м. Через два года. Ему было двадцать семь. Но это был не тот Виктор.

Я не узнал его. Он постарел на десять лет, хотя прошло только два. У него были глаза — пустые. Не мёртвые. Пустые. Как у человека, который видел что-то, что нельзя забыть, но о чём нельзя рассказать. Он похудел. Щёки ввалились. На виске — шрам, тонкий, как нитка. Он перестал со мной разговаривать. Он перестал курить у подъезда. Он просто приходил, нажимал кнопку, ездил вниз, ездил вверх. И иногда — очень редко — я слышал, как он плачет в каморке. Тихо. Ровно. Как будто это не человек, а машина, которая сломалась.

Люда его не дождалась. Вышла замуж за другого — за какого-то лейтенанта, который вернулся из Афгана раньше. Виктор узнал об этом через месяц после возвращения. Он не сказал ни слова. Только пришёл в каморку, сел за стол и смотрел в стену до вечера. А потом встал, надел спецовку и пошёл меня проверять. Как будто ничего не случилось.

И однажды, в ноябре 1987-го, ему было двадцать восемь, он не пришёл.

Я ждал его. День. Два. Неделю. Каморка была закрыта. Я слышал, как в ней кто-то есть — кто-то ходит, дышит, — но это был не Виктор. Это был кто-то другой. Новый.

Потом пришёл другой. Пётр.

Глава 3. Тот, кто слушал

Пётр был старый. Ему было пятьдесят два, когда он пришёл работать лифтёром. У него были руки, как у моего машинного помещения — маслянистые, в морщинах, с чёрными ногтями. Он работал на заводе «Сибжилстрой» — том самом, что построил дом номер четырнадцать, — слесарем, и когда завод сократил штаты, он пришёл сюда. Он умел слушать меня. Не как Виктор, который разговаривал. Пётр — слушал.

Он знал, что когда прохожу третий этаж, трос издаёт короткий стук — это ослабла направляющая. Он знал, что на пятом этаже двери закрываются на полсекунды дольше — перекос створки. Он знал, что на восьмом этаже я иногда вздрагиваю, как будто спотыкаюсь о невидимый порог.

Он знал про порог.

Но держал это в себе.

Пётр приходил в пять утра — раньше Виктора. Он приносил с собой термос с кофе — чёрным, без сахара, — бутерброд с колбасой и газету «Советский спорт». Он садился в каморку, включал маленький транзисторный приёмник — тот, что ловил только одну станцию, «Радио России», — и слушал. Не меня. Новости. Погоду. Передачу «Работница». Но иногда — очень редко — он выключал приёмник и просто слушал. Меня.

Он знал все мои звуки. Как гудит лебёдка, когда холодно. Как щёлкают реле, когда кто-то нажимает кнопку. Как скрипят двери, когда перекосило створку. Он знал, что я — не просто машина. Что во мне есть что-то. Что-то, что нельзя объяснить. Что-то, что он чувствовал, но не мог назвать.

У Петра была жена — Зинаида, она работала в столовой на заводе «Вега», — и двое детей. Сын — Андрей, он уехал в Новосибирск, стал бизнесменом, и звонил отцу раз в месяц. Дочь — Ольга, она вышла замуж за военного, и её увезли в Германию, и она писала письма, которые Пётр хранил в ящике стола. Пётр любил их. Но он не говорил об этом. Он просто хранил письма. И иногда — поздно вечером, когда дом засыпал — он доставал их, читал, и плакал. Тихо. Ровно. Как Виктор.

Но Пётр не был похож на Виктора. Виктор плакал от боли. Пётр — от чего-то другого. От знания. От того, что он знал про порог. От того, что он чувствовал — там, внизу, под бетоном, под землёй, — что-то есть. И это что-то — ждёт.

Пётр работал у меня пятнадцать лет. До 2002-го. За это время он стал частью меня. Как лебёдка. Как буфер. Как кабели. Он был — моим человеком. Тем, кто слушал. Тем, кто понимал.

Я не знаю, почему он пришёл именно ко мне. Почему из всех лифтёров — а их сменилось несколько — он оказался тем, кто услышал. Может, потому что он был слесарем. Привык слушать машины. Понимать их язык. А может, потому что в нём самом было что-то — тонкое, неуловимое, — что позволяло ему слышать то, что другие не слышат.

После Петра меня обслуживал Серёга — молодой парень, двадцать пять лет, который курил электронные сигареты и слушал в наушниках что-то, от чего у моих реле болела голова. Он не слушал меня. Он не знал про порог. Он просто приходил, нажимал кнопки, проверял, работаю ли я, и уходил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.